

Владимир ЛЕОНОВИЧ:

Кн. обозрение. — 1999. — 25 мая. — с. 5

«ИТОГ ГЛАСНОСТИ: СОБАКА ЛАЕТ — ВЕТЕР НОСИТ»

Владимир Леонович — признанный мастер стиха. Но он и мастер жизни. Недалеко от деревни Пелус-озеро в Плоском бору он сам, своими руками, с помощью одного лишь малолетнего сына выстроил часовню. Там же в костромской глуши сам срубил деревянный дом. Он живет в этом доме чаще и дольше, чем в своей московской квартире, добывая в округе рыбу и ягоды, записывая шевеленья леса, треск подлеска, вздохи почвы. Он — как бы вдалеке от многих прелестей цивилизации, от ежедневных новостей, сиюминутных книг. Но он и в самой гуще культуры. Потому что — не в гуще ли лесов, не в толще ли земли и льда, не в провинциальных ли городках наших истинная культура и берет свое начало?

Борис Евсеев: — Ваша последняя книга «Хозяин и гость» только что выдвинута на соискание Государственной премии. Расскажите, в какие сроки создавалась эта книга, какие стихи в нее вошли — словом, что она из себя представляет? Это своего рода избранное или итог какого-то одного периода работы?

Владимир Леонович: — Я довольно однообразен в составлении книг, потому что руководствуюсь при этом в основном географией, т.е. мне хочется вспомнить те места, где приходилось жить, что-то делать, те симпатии и привязанности, которые тянутся из этих мест. А конкретно: это костромские деревни, сама Кострома, где я родился, это Карелия, Заонежье, где я много жил и зимою, и летом, где порой оставался единственным мужиком в погибающей деревне. Это еще и моя родная Грузия, с которой я вот уже 30 лет как неразрывно связан.

Б.Е.: — Теперь связи с Грузией и другими странами ближнего зарубежья поддерживать трудно, мы все-таки разделились.

В.Л.: — То, что мы разделились, для меня призрачно и приводит меня в сильное недоумение. Потому что я никогда не разделяю ни с покойным Нодаром Думбадзе, ни с Отаром Чиладзе, ни, конечно, с теми поэтами, которых я переводил и еще буду, надеюсь, переводить. Духовные связи — они не рвутся! И напрасно политики трудились — иногда злоумышленно, а иногда по глупости, — отделяясь и порывая эти связи.

Б.Е.: — Здесь мы с вами — единомышленники. Но вернемся к книгам: сейчас их много выходит, особенно поэтических. Некоторые книги изданы роскошно, другие — бедновато. Одни — за свой счет, другие при помощи спонсоров. Однако от этих книг у меня остается стойкое впечатление — как от нового «вала» стихов. «Поэтов толпы» среди нынешних авторов очень много. А вот «единичных» поэтов — мало. Меньше, чем в 60—70-е годы. И уж, конечно, меньше, чем на грани XIX—XX веков, когда прямо-таки бушевало разнообразие и многоцветье. Сейчас — больше серости. Вы разделяете такую точку зрения или вам это видится по-другому? Как вы оцениваете нынешнюю поэтическую ситуацию?

В.Л.: — Думаю, ситуация в поэзии — всегда стабильна. Сколько было избранных, сколько было призванных, столько и осталось. Некоторые люди, вроде Пети Вегина, — исчезли. Вегин ведь числился в поэтах, издавал здесь книжки, а потом взял и оказался далеко-далеко, в Штатах. О стихах и думать забыл, катает там в библиотеке тележку... Что ж, это тоже полезный труд. Он ценнее серых и подражательных стихов. Да, некоторые поэты поменяли свою судьбу. Скажем, Межиров уехал. Но Межиров — всей плотью стиха остался в России. Остался — как и был — русским поэтом. Я написал о нем недавно статью, назвал ее «Трепещет и

светится». Это о той межировской струне, которая натянулась теперь от Нью-Йорка до нас. Именно она — трепещет и светится. Так что поэзии не убудет и не прибудет, а какой была она послана Аполлоном или Господом Богом — такой и останется.

Б.Е.: — Никита Струве на вручении премии Солженицына как-то не слишком уважительно отозвался о Твардовском, противопоставив его зачету Лиснянской. Но мы-то знаем, сколько сделал Александр Трифонович и для «Нового мира», и для многих наших писателей. Изменилось ли ваше отношение к Твардовскому за эти годы? Ведь сейчас модно — и справа, и слева — критиковать Твардовского: Твардовский того-то не доделал, там-то не дописал, Твардовский был слишком терпим, он должен был резче выступать против партократов... Что вы можете сказать об Александре Трифоновиче, ведь вы его хорошо знали?

В.Л.: — Это целый рассказ или, скорее, целая поэма, и она у меня написана. Так что здесь я буду краток. Чем дальше мы отходим от того мига, когда Твардовского не стало, тем сильнее и увереннее он вырастает как деятель государства и как человек культуры. По аналогии со Всеволодом Большое Гнездо, я хочу сказать: Твардовский — Большое Гнездо. В этом гнезде вывелась и оторелась целая плеяда замечательных людей. Твардовский привил нам всем некий общественный нерв. Этот крестьянский сын в конце концов понял, в чем изъязн нашей культуры, нашего сознания: мы ушли в города, мы перестали трогать землю руками! А Твардовский «кохал», т.е. любил эту землю, Твардовский растил плеяду писателей земли. Это потом их называли «деревенщиками»... Я был счастлив дружбой с ним, счастлив, что печатался в его журнале, и понимаю значение Твардовского с годами все яснее и яснее. И если бы на вручении премии Солженицына мне вдруг дали слово, я бы сказал о Твардовском так же, как раньше:

За новомировским столом
Твардовский в голубой рубахе...

Тут-то я к нему и вошел. Выяснять отношения. Была тогда кем-то пущена сплетня, что Твардовский отказался от Солженицына. Но он меня быстро поставил на место. Как это было, рассказано в стихах: «Магнитофонная змея / Прокручивается вхолостую. / Стучатся. Входят. Это я / Пришел к нему. — Я протестую! / — Против чего? — Против молвы. / Александр Трифонович, вы / Отреклись от Солженицына? — Не понимаю... / — Не понимаете? — Отрекся? / Куда молва, и ты туда? / И я о взгляд его ожегся. / Воскрес и умер со стыда.

Б.Е.: — Стихи замечательные. Но мне все-таки хочется получить ответ на вопрос: на Западе не хотят понимать Твардовского или не могут его понять? Слова Никиты Струве — это ведь не только его личное мнение, но и какое-то «западное» понимание Твардовского, тогдашнего «Нового мира» и т.п.

В.Л.: — Здесь виновата, наверное, некоторая поверхностность в оценках. Да, Твардовский писал стихи о Сталине, Сталина защищал. Да, Твардовский очень робко выступал — с нашей теперешней точки зрения — против всего дурного. И когда Ахматова в разговорах с Лидией Чуковской говорила примерно следующее: как же так? Друзья, Македонов и Твардовский, встречаются на полустанке, и один, тот, что был на воле, не знает, близка ли его мать. Мы все знаем о наших близких, подчеркивала Ахматова. Это — упрек. Так, как знала эпоху Ахматова, Твардовский ее, конечно, не знал. Он знал ее по-другому. Иван Трифонович Твардовский, его брат, знал, наверное, ту

эпоху больше и написал о ней великолепно. А Твардовский был взлелеян, убаюпан властью, он поверил этой власти, он выступал за колхозы, он наступил на себя, когда сослали его родных. Он смог наступить. Хотя ему было очень больно. Но можно понять все, что делал Твардовский, и по-другому: как измену. Что ж, многие люди склонны понимать и помнить мелкое и плохое сильнее, чем крупное и высокое. И поэтому такой вот «имидж» Твардовского гуляет по Западу. Но мы, шестидесятники, чтим Александра Трифоновича: честь ему и хвала!

Б.Е.: — Тогда еще о государстве и культуре. Госпремии будут присуждаться в этом году буквально через несколько дней после Пушкинского двухсотлетия. Юбилей ко многому обязывает и тех, кому присуждают премию, и тех, кто присуждает. Что вы думаете о нынешних государственных премиях? Есть премия Солженицына, есть Букеровская. Кому и за что их присуждают — более или менее ясно. А вот Госпремия не только тускнеет в ряду других премий, но и подергивается каким-то туманом: за что и, главное, кто присуждает эту премию?

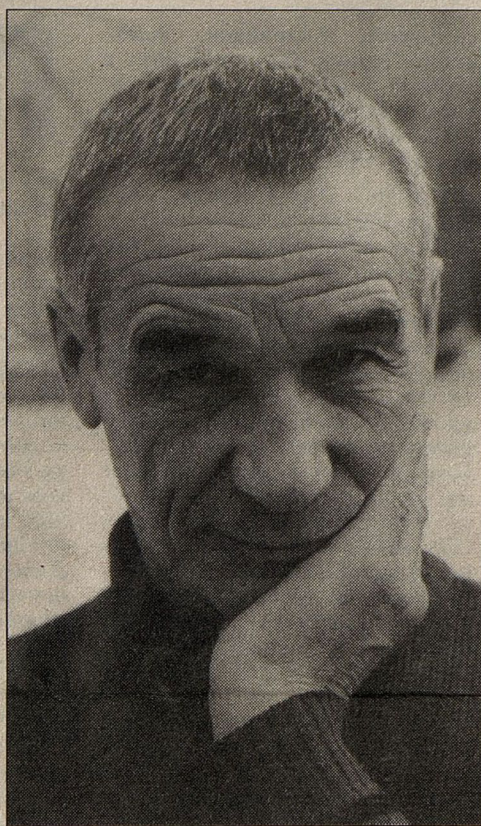
В.Л.: — Эта премия и есть Сталинская, она только по названию — Российская. Я только что вернулся из Костромы, прижимая к груди конверт с премией имени Игоря Дедкова. Эти деньги — чистые! Есть у меня и экологическая премия Вотлозерья. Я там строил мосты, латал крыши, складывал печки. А часовня, мною там поставленная, оказалась первым освященным за годы советской власти строением. Когда мне там хлеб и соль преподнесли на полотенце, я был счастлив до слез. Государственная же премия, в моем понимании, является премией от лица нынешнего государства, стало быть, эти деньги могут дурно пахнуть. Но если эти деньги перевести на счет какого-нибудь издательства (а будь моя воля, я перевел бы их на счет издательства «Ключ», которое издает сейчас книгу «За что?» — по материалам комиссии по наследию репрессированных писателей), то тогда эти деньги для меня заблагодарят. Среди 4—5 книг, выдвинутых подобно моей на премию 1998 года, есть и книга Тамары Петкевич «Жизнь — сапожок непарный». Это великолепная книга стойкой русской женщины, которая прошла лагеря, у которой отняли сына и которая во всех обстоятельствах вела себя так, что зависть берет. Вот такие книги, которые томятся в папках у этой комиссии, надо издавать в первую очередь. А государство — ни теперешнее, ни то, что существовало раньше, — этого не делает. Оно научилось душить, научилось гнать, порочить. А издавать оно не умеет. Но, повторяю, если этот «премиальный поезд» перевести по стрелке в издательство «Ключ», государство вынуждено будет сделать движение совести. И тогда я его расхвалю.

Б.Е.: — Это благородный порыв.

В.Л.: — Это не порыв, это моя жизнь. Во мне ведь течет добрая капля польской крови. Я нищий, но я пропущу мимо себя эти доллары — хотя навряд ли мне их когда-нибудь дадут — с внутренним ликованием. Об этом, кстати, писал еще Достоевский. Он не любил полячишек, но знал за ними и такое свойство.

Б.Е.: — Ну а что у вас сейчас на рабочем столе? Ведь наверняка вы что-нибудь, Владимир Николаевич, пишете, переводите?

В.Л.: — Сейчас у меня на столе материалы не слишком поэтические: там проза и кое-что еще для возникающего в Костроме культурного приложения к «Северной правде». Меня туда сажают редактором. Поскольку в Ярославле исчезло издание «Очарованный странник», то просто должно было возникнуть такое вот издание в Костроме. Я согласился, в



частности, и потому, что там 30 лет работал Игорь Дедков. При нем положение костромской культуры было определенное и высокое. Мне, конечно, уровня Дедкова не достичь никогда, но грех не попытаться, грех отказаться от предложения. Я сейчас трясусь портфели разных журналов. Вот несусь из «Дружбы народов» целую папку, в «Знамени» тоже обещали поделиться. Стану эдаким книжным человеком.

Б.Е.: — У вас есть стихи: «Я кончу круглым сиротой, я кончу полной немотой». Что это? Предчувствие вашей личной судьбы? А может, предчувствие новых общественных потрясений, новых бед? Мне почудилась в этих строках какая-то пророческая нота.

В.Л.: — Мы обречены биться об лед головой. Как рыба... Когда ей мало воздуха, на озере начинается замор. Тогда кто-то прорубает полынью, чтобы рыба дышала. Если это бескорыстно, то рыба еще подышит. А если с корыстью, то скоро ее, полудохлую, будут выхватывать из воды руками. Я просто счастлив, что Инне Лиснянской повезло с признанием, с премией, с друзьями. Для себя лично я такого случая не жду. Я ведь на Волге родился, помню Волгу, в которой тонул. Это была молодая, поджарая река! Она сама себя мыла, бурлила и т.д. Сейчас Волга — череда отстойников. Зрелище меня удручает... Страна — и Волга. Не улавливаете ли вы здесь аналогии? И моя привилегия, если я хоть что-то из себя представляю в поэтическом смысле, — видеть несколько шире и печальней других. Видеть и наше рабство, и нашу пошлость. Так вот: я не разобью того льда, что нарос. Не помогу свободе. Сил, к сожалению, не хватит. Да и свобода сейчас другая: о ней можно кричать, разглагольствовать, ее нельзя творить. Гласность ныне недорого стоит. Потому что результат, итог этой гласности: собака лает — ветер носит. Вся зависимость «независимых» органов — для меня налицо. Есть свобода сгущать, чем и занимается, скажем, «Московский комсомолец». Это чтобы читатель к следующему номеру потребовал еще больше ужаса в информациях. Свободу поняли не так, как я ее понимаю. «Не эти дни мы звали», — писал Блок. Я к этому полностью сегодня присоединяюсь: не эти дни мы звали. Не дни «освобожденной» порнографии, не свободу расхристанности и беззакония. «Бичуя маленьких воришек, / Для удовольствия больших / Являл я дерзости излишек / И похвалой гордился их», — писал мой любимый Некрасов. То, что у нас царит, — это не свобода, это — не справедливость и это — не суд! Так что этой демократии я не приемлю. Когда был 93-й год, и в нас демократизаторами бивали разумение демократии, — в меня вбили что-то совершенно противоположное.

Беседу вел
Борис ЕВСЕЕВ

25.5.99

Владимир Леонович